



С. Н. БУЛГАКОВ

Письмо к П. А. Флоренскому

*17 августа — 1 сентября 1922 г. Ялта.
17.VIII. 1922. Ялта.
Jaltica (Письмо к Другу)*

I

Дорогой и единственный, царственный мой друг! Тебе я пишу теперь церковную эту исповедь... Лично для меня сейчас нет ничего более важного и нужного, как то, чтобы Ты меня понял и одобрил, ибо при мысли о расхождении (я даже не решаюсь сказать о разрыве, ибо в него не верю) с Тобой ломит сердце, трепещет и изнемогает душа, и я не знаю, как я это переживу. После семьи, которая есть мое же распространенное я, я люблю Тебя больше всех на свете, удивляюсь, что, преклоняюсь, обожаю, как школьник учителя или, скажу точнее, как познавший всю меру слабости своей неудачник, однако не настолько слепорожденный, чтобы не узнать рядом с собой живущего гения во всей его сверхъестественности. Ты это знаешь, знаешь, что Ты для меня значишь, как я Тебе благодарен за все, за все. Ты был для меня верным другом и на брачной вечери моего священства: пред престолом Христовым Ты стоял, как сослужитель, когда я приносил Ему свои обеты, и вместе вкусили мы от Чаши Господней. И первую мою литургию совершил со мною Ты, вода меня за руку как мать, водящая свое дитя, или лучше, как орел, учащий молодого орленка летать и дышать воздухом высей небесных. И мы расстались с Тобой после совершенной вместе литургии более четырех лет назад. И земную нашу дружбу; в которой Ты снизошел до меня и которой меня осчастливил, увенчал сам Христос Спаситель на Своей вечери.

На великие испытания, искушения и просветления посылал меня Господь в эти годы, которые я прошел без Тебя, с ужасом думая о Тебе, жив ли Ты, трепеща при мысли, что я остался один без Тебя. Время это было исполнено великих чудес Божиих, и я не умею даже сказать и понять теперь, сколько было этого времени, сорок лет или четыре года: время остановилось, свивалось в точку или снова разворачивалось в бесконечную ленту, но ежесуточно восходило и заходило солнце моей жизни, ежесекундно совершало свои биения сердце, давало знать, что силой Божьего создания я живу в мире, в этой стране, принадлежу Ему, а он мне. И это была для меня новая жизнь, ибо была неизведанная жизнь в священстве. О, как велико и непостижимо это таинство! Как, действительно, священник есть иной человек, новая тварь! На всю свою прошлую жизнь я смотрю, как, вероятно, смотрит душа покойника на сброшенное тело или бабочка на свою куколку. Я увидел свой, или наш, портрет, так бесконечно дорогой мне, и по воспоминаниям, и по значению, но на себя там смотрю именно так, извне, как на бывшее свое тело, которое однако уже также не мое, как отрезанный ноготь, ибо я твердо и несомненно знаю, что ведь это не-я, хотя и было я в предыдущей жизни (редкий случай, скажешь, постижения «прерывности» и напр<имер> <?> преодоления «закона тождества»!), и лишь напрягая память восста-новляю свое единство с этим... интеллигентом.

...Я священник теперь и только священник: все остальное во мне затихло и замерло, если, впрочем, и было чему замирать. Ведь теперь-то я хорошо знаю, что все профессорство мое и научность было лишь одним недоразумением в смысле отсутствия во мне этой стихии, хотя совне иным и казалось обратное (даже Розанову¹), и во всяком случае и внешне-биографически, и внутренне-духовно оно сгорает и догорает в огне священства, и я без всякого сопротивления, вольно, отдаюсь этому перерождению, вот уже четыре года. Я знаю, что это «целых» вызовет улыбку у какого-н<ибудь> заматеревшего и матерого церковника, десятками лет считающего свое священство. И пусть себе улыбается, но ведь ты-то знаешь, что время есть величина относительная, зависящая от наполнения и интенсивности. И в моей жизни, которой Бог определил кривой путь незаконной кометы, пресекающей многие чуждые орбиты, на склоне лет, после долгой уже и утомительной жизни, исполненной непрерывных перевоплощений или же хотя переодеваний, это — не мало. И притом в мой опыт вошло еще теперь приходское священство, которое дало мне хотя бы одним глотком ощутить

вкус вод всероссийского «грекоправославия» in concreto², т. е. прежде всего, в себе и через себя. На мою долю достались и эти печальные страшные месяцы испытания веры и любви — голодного священства в голодном Крыму в разгаре голода... И к этому непрерывная смута, церковная и мирская... Вспоминаю об этом, чтобы еще раз сказать, что на войне месяцы, а то и недели и дни, идут за годы, и я, право, уже чувствую за собой опыт приходского священства. Среди нашей братии не родился еще Вересаев³, который бы написал «Записки священника», с чуткой религиозной душой, а не пустые бытовые картинки, которые пишутся. Я не собираюсь быть таким Вересаевым, но твердо и ясно знаю, что без этого опыта мое церковное сознание не получило бы той конкретности, которую имеет теперь: плавать можно научиться только бросившись в воду, да я и не своею волею взялся за эту науку.

Итак, вот Тебе итог этого отрезка моей жизни: эти годы я жил в священстве, мыслил и страдал в священстве и — хотелось бы, право, сказать это без ложного дерзновения и лицемерного смирения — и священство жило во мне, возгревая дар благодати его (*character indelebilis*⁴ священства, ведь это же его аксиома!). Разумеется, я и мыслил и богословствовал — со всей силой страсти, которая только доступна моей хилости — и все те же старые вопросы: о поле (приобретающие новые очертания с изменением ориентации, ведь ты подумай, для меня уже начинаются откровения старости, т. е. опять совершенно новое освещение жизни и новая ориентация), о новом сознании и, главное, о догмате о Св. Духе и о Св. Троице. Этому последнему посвящены были все мои богословские: думы, созерцания, изучение: это — центр всего моего сознания⁵. Но тем не менее это было и есть еще богословие (хотя, разумеется, не только богословие). Но область, в которой откровения мысли были вместе с тем и откровениями жизни, где я ощущал живо самую стихию, в себе и вне себя, выше себя, это — церковность, все та же вековая проблема Церкви. Ее нельзя сызнова не ставить и не проверять старых решений пред лицом крушения миров и церковных потрясений, но и помимо скандала и треска, слышного только на поверхности, в глубине, в агенте, где не слышны уже дневные шумы, выступают новые знаки, иероглифы или знамения («*vexilla*»⁶), о них ночь души непрерывно ведет шепотный разговор, смотрясь в их таинственную глубину как в многозвездное небо. И в этой тиши жила и в эту глубину смотрелась и смотрится и ныне моя иерейская душа, непрерывно ощупывая свой «столп и утверждение истины». И при этом, с полной не-

ожиданностью, вопреки всему своему прежнему самосознанию, пристрастиям и предубеждениям, повинуюсь повелительно разрывающей антиномии, какой-то железной диалектике, я пришел к сознанию, что я уже перерос прежнее понимание церковности, и опять должен взять посох и отправляться снова в путь, м<ожет> б<ыть>, последний уже путь своей старости. И первая и последняя — человеческая и более чем человеческая — священническая, мысль при этом о Тебе: неужели я отойду в этот путь одни. Неужели здесь меня ждет разлука — а, м<ожет> б<ыть>, и духовный разрыв (к чему смягчать истину? это недостойно нашей дружбы!) с Тобой. Неужели Бог потребует этой, кажется мне по человеческой слабости моей, — непосильной для меня жертвы? Или же, шевелится надежда — этого все-таки не произойдет и так-то... даже и не представляю себе как, ты, даже не сливаясь со мной в моих мыслях и чувствах, все-таки останешься со мной, о чем молю Господа, ибо Он видит, что вольно я не согрешил против нашей дружбы, а невольные грехи слабости и неведения Он да разрешит! Всех Он нас заключил в <нрзб.>, чтобы всех помиловать. Итак, да смилуется Господь надо мною, и да не потеряю Тебя в этой жизни. Знаю я свою слабость. Она такова, что без проверки Тобой и по Тебе, без Твоего одобрения не могу я решиться поставить последнюю точку, сказать окончательное да самым, казалось бы, искренним и несомненным своим переживаниям, и Твое неодобрение поразит параличом мои слабые силы, — такую власть надо мною дал Тебе Христос. Но и Он же — и в этом я тоже не могу, не умею сомневаться — ныне повелевает мне идти путем своим, путем истины. Вот жизненная антиномия, она не в пример мучительнее и труднее, чем наши декоративные и благополучные антиномии школьные. Итак, прими мою смелую <?> и, конечно, неумелую исповедь, и дай мне на нее ответ как соиерей, друг мой, моя надежда, <нрзб.>, и утешение! Внемли же...

II

1.IX.1922

Не рассказать этих бесчисленных и бесконечных дней и ночей, когда боролась душа и изнывала под непосильным бременем гибели России, эта непрерывная тупая боль, которая прерывалась острыми пароксизмами. Я жил (и живу) в полном одиноче-

стве, в котором вынашиваю и вымаливаю свои теперешние думы, поставленный перед Престолом Божиим и перед (с <нрзб.>) своею паствою. И странным образом — под наплывом этих дум и чувств — все сильнее во мне обострялась одна основная боль и тоска — о церковности. Здесь, в этом пункте основном и решающем, Ты должен меня правильно понять: не о Церкви, Теле Христове, Невесте Христовой, которую я знаю, верю и люблю всем сердцем и помышлением превыше всяких сомнений, но именно о церковности, о социально мистическом (здесь в первый раз не извиняясь и не смущаясь, говорю о «социальности», ибо нащупал и ее откровение). М<ожет> б<ыть>, в глубине своего существа все сильнее я чувствовал роковую неудовлетворенность грекороссийством и новый духовный голод, чувствовал все сильнее какое-то роковое одиночество и церковное сиротство... Я знаю, что Ты поймешь, о чем речь, и не станешь мне читать прописную мораль: мистическая Церковь, в которой я — все и во всем, есть, как и была для меня, высшая и даже единственная реальность, и я познаю это в каждой Евхаристии, в каждом священнослужении, — речь не об этом. И совсем не о личном фактическом одиночестве, т. е. уединении, говорю я, п<отому> ч<то> если бы я жил и на необитаемом острове, то все было бы то же. И нельзя также и дружбой утолять эту жажду (я постигаю это совершенно точно), о которой умел Ты раскрыть как бы откровение, ибо дружба — и по Твоему постижению, — есть клетчатое строение организма Церкви и жизненна только в Церкви, как мистической социальности, ценна только церковностью, т. е. предполагает уже ее наличность, но ни в коем случае ее не замещает, иначе получается опаснейшее упование на сынов человеческих, «прелесть» вдвоем («Эрн и Свенцицкий»⁷ — перед нашими глазами в этой мистической фирме прошел пример такого церковного самообмана), и как ни люблю и ни чту я Тебя, но даже в отношении к Тебе я не хотел бы совершить ошибку религ<иозного> суждения: дружба есть Церковь и в Церкви, но Церковь ни в каком случае не должна сделаться Дружбой, не есть Дружба. Словом, и дружба дает ответ совсем на другое чувство, на другое алкание, чем то, которое все более овладевало моей душой. Все, что я знал и что было в моей душе, оставалось на месте, кристаллизовалось и крепло. Но вместе с этой четкостью церковного сознания непрестанно вставало и новое чувство: душа куда-то тянулась своими щупальцами, что-то искала, около чего можно утвердиться, обвиться и зацвести... И все ответы, которые имеются и которые с наибольшим блеском и полнотою дал Ты о

столпе и утверждении истины, стали недостаточны, потому что сделались понятны в своей неполноте, человеческом слишком человеческом видении и постольку неизбежной стилизации. И, главное, неполноте: ибо и для Тебя самого Церковь не есть только умное видение, которое постигается умным видением, ощущается духовным художеством, опознается духовным вкусом, суждением красоты духовной: София—Дружба—Ревность etc., но есть и, действительно, столп и утверждение истины. Не только динамика, о которой можно говорить лишь глаголом, но и статика, — имя существительное. Ведь и для Тебя церковность есть не только мистическая жизнь, но и грани, столпообразно утвержденные, железный нерушимый иерархический строй, власть, полагающая предел всякому самовластию. Ты выявил всю женственную полноту Церкви, но где же мужественная? где Камень Церкви? Я отвлекаюсь, вместо того, чтобы повествовать, начинаю спорить, но ведь я постоянно смотрелся и смотрюсь в Твое духовное зеркало, и хочу быть не только Тобою понятым, но Тебя к себе подвинуть, какова бы ни была моя малость. Как же могу не хотеть я этого, если сознаю себя на пути истины, и сама Истина помогает отрокам своим... Из всей суммы моих переживаний — личных и патриотических, молитвенных и приходских, из всего опыта русского священника в наши дни в темной глубине церковного сознания все явственнее высверливалась воронка, намечающая новый его центр. И я долго не умел сознать, что это значит...

Это было в одну октябрьскую бессонную ночь 1921 г. в Ялте: в ночной тоске неслись мои всегдашние думы — о России, о православии, о будущем. И вдруг... «была на мне рука Господня»⁸ — иначе я не умею этого определить и понять — налетел на меня вихрь, сердце забилося, и что-то явственно и несомненно проговорило во мне ответ: в Рим! Свидетельствую, что это было для меня самого ново, неожиданно и как-то принудительно. Мысли понеслись, обгоняя и тесня друг друга, развертывая свою панораму. После этой ночи я — еще раз в жизни — встал новым человеком, с новой идеей в душе, с новой темой жизни... Я был в каком-то радостном изумлении и ужасе, я боролся с Богом и спорил с Ним. Ибо знал я, что это для меня географически значит, знал, как слабы мои силы, знал, что на эти, немногие уже, оставшиеся годы старости возлагается непосильное бремя, но Бог — сильнее нас и нельзя Ему противиться. А вместе с тем были и свет, и радость, и новая жизнь... Ну вот. Теперь я Тебе все сказал, остальное Ты поймешь сам: «*vexilla regni...*»⁹ Но все-таки кое-что прибавлю.

Удивительна поверхностность, с которой всегда судят о Папе, как о внешнем авторитете, но ведь в таком случае внешним авторитетом будет и Христос, а Его Евангелие — *corpus juris*¹⁰. Но в том-то и дело, что Папа, *plena potestas*¹¹, непогрешимость и безусловность церковной власти, есть, прежде всего, внутренний факт, который мы находим в душе, в глубине церковности: он не дан, но задан, *si n'existait pas, il faudrait l'inventer*¹². Ведь что же в самом деле иначе представляет собой история зап<адной> Церкви: слепоту, обман, религиозный психоз? Невидимое в видимом, — Церковь мистическая и историческая, как ведь и каждый священник или епископ есть такой же мистический факт: о. Павел или пр<еосвященный> Феодор, но вместе и *ιερευς*¹³. Почему же Папа есть внешний авторитет, а не предмет веры, первоархиерей; которому присуще — *ex cathedra*¹⁴ — осуществлять таинство веры и власти? Это таинство мы легко приписываем Вселенским соборам «изволися Духу Св. и нам»¹⁵ (ибо это соборное определение есть таинство веры, Ты-то в этом со мною согласишься), почему же претываемся о мысли о Папе? И эта идея — хотел бы сказать — это отцевание дает совсем новое чувство церкви, дает полноту этого чувства и через то открывает неполноту моего прежнего чувства. Ньюман¹⁶ сказал — в порыве «конвертита»: Церковь это Папа. И это верно, по крайней мере, в такой же степени, насколько верны все те определения Церкви, которые даются на языке мистическом (в частности, и Тобой). Это значит, что ведение Петра в Церкви, живого ее вождя и центра, иерарха церковного единства, дает всепроникающее чувство, совсем иное, противоположное той сиротливости и одиночеству, которое испытывается вне этой связи. Невидимые, но реальные нити связывают с кафедрой ап. Петра, и сильная рука держит и утверждает. Есть духовный отец на земле, данный самим Христом. И мне при свете этого нового ведения просто непостижно, каким-то недоразумением кажется, что Ты — с Твоей остротой мистического зрения — этого не видишь, проходишь мимо этого Таинства власти и веры, без которого не полна была церковная полнота (т. е. неистинна истина) и отмахиваться словами... школьного богословия или славянофильства (в «Столпе»¹⁷). Во всяком случае, уж если не принять, если отвергнуть догмат о Папе, то не так, как это доселе делалось и делается, но обернувшись к нему лицом и до конца постигнув, о чем идет дело. Этого я даже у Тебя не видал. Все пути ведут в Рим, т. е. приводят к центру проблем о Церкви, и в этом убеждаешься опытно каждым движением, каждым усилием мысли (таково свойство центра в отношении всех то-

чек периферии), и поэтому, как Ты сам хорошо понимаешь, тысячью способов можно вести апологетику и контрапологетику папства. Но я ведь не эту умную ненужность хочу здесь повторить, но хочу Тебе открыть душу, как это было, и вот в этом-то внутреннем событии обнажается такая «скала», которую никому нельзя безнаказанно не видеть. И это мистическое откровение о Церкви, которое, повторяю, пришло ко мне помимо всяких внешних влияний и впечатлений, стало, конечно, живым центром всех моих мыслей и чувств... И это все было потому неожиданно, что я привык — это же так хорошо известно — относиться с предубеждением, подозрительностью и антипатией ко всем униональным попыткам и настроениям. Но при свете нового чувства жизни и, разумеется, стал по-новому понимать и себя, и Россию, и все свои прежние дела и мысли, и наши общие с Тобой думы, и вот об этом-то я и хочу больше всего Тебе сказать.

Виноват: был один небольшой внешний толчок, который меня как бы разбудил и насильственно направил мои мысли в эту сторону: мне пришлось присоединять к православию одну католичку. Ей это было хорошо и нужно по семейным условиям, это было, в сущности, переходом к восточному обряду, дававшему возможность причащаться, так что с нею мне не было трудно. Но я спросил свою пастырскую совесть: разве могу я с новым убеждением ее «сворачивать», как от полуистины к полной, как от лучшего к лучшему? Да и разве могу я внушить ей все богословские тонкости о *filioque*¹⁸ и пр.? Я ответил себе: нет, и был этим потрясен. Это было еще до той октябрьской ночи. Приходилось ли Тебе присоединять?

III

Помнишь ли Ты, как перед принятием священства беседовали мы о нем, и я говорил, что я стремлюсь к тайнодействию, хочу быть жрецом, а не пастором, а Ел<ена> Ив<ановна> еще все возражала против этого. Я тогда, как и Ты, считал ее мнение недоразумением, а теперь думаю, что она была права. Правосл<авный> священник есть не только жрец, но и пастырь, поскольку он — священник, он есть мистический центр власти, а след<овательно>, и прав, и ответственности. И говорю это не только как приходской священник (хотя в таком положении это виднее), но и просто как священник, который ведь не может

не исповедывать, не проповедовать, не учить — в какой бы то ни было форме, если только он возгревает, а не замораживает свой дар. И в этом служении священства развивается и утончается особое мистическое чувство церковной социальности, связи с единой Церковью, вместе и с болезнями этого чувства. В своем «жречестве» православный священник вполне удовлетворен и сыт, ибо вкушает неземное блаженство тайнодействия и ангельскую радость священнослужения: одна сторона церковности, о которой мы с Тобой всегда делили мысли и чувства, есть, действительно, незыблемый камень столпа и утверждения. Но в другой стороне его, которую я стану условно называть церковно-социальной, я скоро почувствовал; не все благополучно. Ибо внутреннее задание и жажда здесь — единства церковной связи и власти, внутреннее сознание вселенскости, а действительность — поместное, тусклое, приходское, двусмысленное или многосмысленное, — какой-то партикуляризм и дилетантизм. Я не говорю о том, что фактически, при данном состоянии Русской церкви, нет не только вселенского, но даже общерусского, даже общепархиального сознания в пастырстве: есть приход, где-то благочиние, наконец, епарх<иальный> епископ, — таков рыхлый, рассыпчатый материал, из которого склеена наша еkkлeсия¹⁹, так легко и рассыпающаяся. Но это печальное внешнее состояние есть только обнаружение природы нашей церковности, порожденной «грекороссийством», т. е. национальным партикуляризмом вместо вселенской сверхнародности (это звучит книжно, но на самом деле у меня зажглось солнце в душе, когда я прозрел в себе и этот партикуляризм, и национализм и, думаю, навсегда расстался с остатками своего религиозного славянофильства). И вот эта-то церковная оголенность и беспомощность всего яснее сказывается в наиболее интимных точках, в особенности, в исповеди и учительстве. Наше священство безвольно и постольку бессильно, и это не в смысле личной слабыхарактерности, а церковной своей хилости. Иные и это ухитряются ставить на плюс доброму «батюшке», в противоположность хищному и цепкому *directeur de conscience*²⁰ патеру, но духовник несомненно есть *d<irecteur> de con<science>*, иначе он просто требоисправитель, *ex opere operato*²¹, отпускающий грехи, жрец, а не пастырь. От приходской исповеди бегут в монастырь, к старцу, там не только внимательнее, но строже, серьезнее, ибо там атмосфера церковности плотнее, но качество ее то же. Чего-то нет внутри, нет костяка, нет мускулов власти, нет внутренней связи с ее первоисточником, — роковое одиночество пастыря, кое-как, как-нибудь делающего

свое дело, боящегося власти, от которой, однако, нельзя освободиться. И замечательно, что и епископ, с которым могла бы быть эта внутренняя мистическая связь, тоже есть скорее начальство, чем орган власти, он не помогает священнику, как не помогают ему и рядом стоящие его собратия, такие же одинокие и взаимно отчужденные. Нет Папы в сердце и не протянуты мистические нити, связующие с Властью, т. е. с Римом, и потому вся природа православного пастырства бессильная хилая. Можно было платонически умиляться на эту кротость и смирение, пока не ясно стало, что это — слабость, на которую нельзя умиляться и с которой нельзя даже мириться. Воинствующая церковь не должна состоять из инвалидов, а этой инвалидностью объясняются все роковые черты нашей славянской слабости, распущенности, расплывчатости, рабства: каков поп, таков и приход. — Ты поймешь меня с полуслова, и мне не нужно Тебе приводить бытовых или исторических подкреплений, когда дело идет, прежде всего, о самой природе священства, а след^до^{ов}ательно, и церковности. Можно сказать да или нет этой природе, но нельзя ее наличность отрицать. И с тех пор, как я увидел и сознал ее в себе и в других, я говорю нет, п^отому ч^то нельзя говорить да слабости и несостоятельности. М^ожет б^ыть, ты скажешь: католичество все-таки хуже, — отвечу: исторически — может быть, все бывало, а мистически — ubi para ibi ecclesia²², — душа не может быть без центра. Нынешние экспериментальные времена и здесь произвели эксперимент церковности: мы все садимся и пересаживаемся в церковные позы: от Синода к Собору, от Собора к патриарху, от него кувыркком летим, Бог знает куда, и остается в существе то же щемящее чувство тоски о Вселенской Церкви. Чтобы Ты не подумал, что во мне говорит разочарованный интеллигент, которому все приедается, или лично Тебе известный С. Н. Б.; которому на роду написано переходить от—к даже и в священстве, скажу по всей совести, что это самознание вовсе не есть разочарование. Я ведь и знаю все положительные качества русского православного священства, как не видят многие со стороны, и лично за себя блажен, что нахожусь в его рядах. А все-таки «грекороссийская» Церковь в параличе, совсем не в том, о котором говорили церковные либералы вместе с Достоевским, но во внутреннем, чисто логическом: дряблость ткани вследствие слабости сердечной мышцы, разрыв с центром единства Церкви, схизма... И понятно все историческое наше отталкивание от католичества, внутренний страх перед ним, п^отому ч^то

здесь, действительно, предел для «грекороссийства», здесь мы имеем иное чувство Церкви, острое, четкое, честное, но трудное, потому отвратное. Из вечного кое-какства, наследственного дилетантизма придется стать «спецами». Если бы действительно написать — конечно, для немногих и лишь для внутреннего употребления вторые вересаевские «Записки духовника», как бы прикусили мы языки многие в своем православном хвостовстве. А еще над католическим «конфессионалом» величаемся. Убежден, что, хотя и там есть грехи и уклоны, но исповедь существеннее, строже, целительнее. Потому и патеры там получают и удерживают власть над душами, пот<ому> что в себе эту власть имеют. А мы ухмыляемся и высокомерно осуждаем. И вся наша приходская жизнь в лучшем случае полна благожелательности и теплоты, а в среднем чревата или теплопрохладна, но не имеет напряженности и жгучести, какую должна иметь. Последнее почитают свойством или недостатком католического «фанатизма», а на самом деле это есть нормальная церковная энергия, любовь есть ревность, ревность — огонь и смерть, не для Тебя и не мне это надо объяснять. И оттого так легко и бесшумно, и даже как будто безболезненно разваливается русское православие...

Я упомянул еще нашу вечную церковную двусмысленность и многосмысленность. Ты знаешь, о чем я говорю. У нас нет, кроме области тайнодействия и священнодействия, т. е. апостольского иерархического преемства, ничего бесспорного и не двусмысленного. Имеем ли мы каноническую, не узурпированную власть? Мы позабыли, когда ее имели, если только когда-либо имели. И всякая власть у нас есть очень ревностное и иногда лютое начальство (и тем лютое, чем узурпативнее), но поражена роковою двусмысленностью, так что не то ей должно повиноваться за страх и за совесть, не то с нею греховно общаться. Всего мучительнее это чувствовалось на патриархе, который обречен был собою трагически выявить это каноническое недоразумение (разве патриарх имел церковную власть?), и я уж не говорю о том, что было и что будет после него... Двусмысленна наша догматика: мы с Тобой признаем (или не признаем) немало того, что совсем иначе расценивает церковная власть, этим не смущаясь, но в то же время всегда рискуя попасть под ее канонический шаг. И, в частности, даже и в теперешнем своем состоянии я продолжаю считать себя православным, хотя знаю, насколько расхожусь с официальным, но всегда «блуждающим» богословием. И даже в самом важном пункте: в канонизации

святых и в литургических и канонических новшествах, больших и малых, не устранена эта двусмысленность, связанная с отсутствием единой высшей церковной власти, какая-то церковная нелегальность, и чем больше вдумываешься в это зло, тем оно становится болезненнее. Да какие еще канонизации и новшества можем мы увидеть в Русской церкви... И этот тупик не имеет исхода. До тех пор, пока все было сковано и неподвижно, была личина канонического благообразия, теперь же — все оттаяло и завоняло. Вот мы горячимся в вопросе об Имени Божиим, но ведь этот догмат — в приятии или неприятии его одинаково — обречен остаться канонической двусмысленностью, п<отому> ч<то> в лучшем случае даже Поместный собор не будет властен изрекать догматическое определение (да если он изречет нам неприемлемое, мы ведь этот Собор все равно не признаем, не «реципируем»). А Вселенского собора быть не может, некому его авторитетно созвать! Да и какая же будет гарантия того, что каждый следующий Поместный собор не станет пересматривать дела в противоположном смысле, как было это с констан<антинопольскими> Соборами относит<ельно> паламитских споров, где три Собора, на протяжении менее 10 лет, постановили три взаимно противоположных решения, в соответствии сменам политических влияний при дворе²³ (кстати, Ты почему-то всерьез берешь эти Соборы в качестве авторитета, почему?) Ведь Поместный-то собор обречен всяким случайностям. Мы обречены и в настоящем, и в будущем на эту церковную двусмысленность и зыбкость, и при каждой попытке пошевелиться будем тонуть и вязнуть. Так жить нельзя. Это — грех перед Духом Святым и Невестой Христовой! Мы обречены на церковную двусмысленность и — протестантизм, роковой, неизбывный. Да, протестантизм! Мне казалось, что я всю свою сознательную жизнь воевал с протестантизмом, и это верно, поскольку я имел пред собою протестантизм рационалистический, безвкусный, и я искренно удивлялся и не понимал, когда сам подпадал с католической стороны упреку в протестантизме, теперь понимаю: страшен не протестантизм исторический, который даже совсем не страшен, ибо распространяется по закону всякого сектантства и самочиния, но протестантизм мистический, религиозно-философский, даже церковный, который и является нашим общим уделом при параличе церковности. Таким взглядом смотрю я теперь и на свой путь, и на Твой. Трудно богатому внити в Царствие Божие, и так Ты богат и силен своим богатством, которое знаешь, что неразличима Твоя

человеческая, гениальная и церковная, сила, одна переходит в другую, одна с другой смешивается. В Твоем человеческом хочу и знаю столько твердости и стали, какое бы — христианское ли или стоическое, православное или католическое, сказуемое ни соединялось с этим подлежащим, во всяком случае получался бы некий «столп и утверждение», о который можно было бы обвиваться слабой и гибкой поросли (как я о Тебя обвивался). Но та лучше других — один только Ты знаешь и трудности этого богатства. Ты — Венера Милосская²⁴, которая везде радуется и утешает своим благородством и красотой, будь Ты неоплатоник (каким Тебя, в сущности, родила природа) или христианин, и Ты всегда подвижник и аскет идеи, каковы бы они ни были. Одним словом, всякое прилагательное к Твоему существительному так грандиозно, дорого и прекрасно, что оно чарует само по себе, даже если бы Ты был не христианин и поскольку Ты не христианин, по крайней мере, грекороссийский (русского, несмотря на всю стилизацию и пристрастие Твое, в Тебе вообще мало, и по крови, и по духу, да это и хорошо, п<отому> ч<то> в русской жизни не может — или еще не может — образоваться такой кристалл). И тем не менее все это надо как-то отмысливать, чтобы поставить вопрос по церковному существу, где идет речь только о корневых связях, а не цветах и плодах: не все то, что гениально речет Фл<оренский>, будет и церковно в то же время, будет голосом Церкви в нем и через него. А в то же время задания церковности, в соответствии его дарам, безмерно увеличиваются: не Церковь, но сам он становится для себя и для других «столпом и утверждением истины», в себе нащупывающая его и приукрашая («цветовод», балагурит Терн<авцев>²⁵, «стилизатор», ругается Б<ердяев>²⁶, а в сущности, в известном смысле оба правы). Сила Твоя такова, что с нею, если знать ее, как Ты сам ее знаешь, не справиться не только моей малости, но и посильнее меня, думаю я, прямо не справиться никому с Твоим суеверное чувство возбуждающим, сверхъестественным прозорливством, Ты в своем роде сам по себе — непогрешимый папа своею силою, и это Твое природное папство покоряет, а все-таки и Ты — не Папа, и Твое слово о Церкви не есть слово Церкви. Потому буду дерзать и о Тебе. Я помню, Ты писал мне еще студентом: моя идея — православие. Помни, и тогда я был поражен этим, а теперь, при свете заходящего солнца своей жизни, часто думая об этом, поражаюсь: да, это так, у Тебя есть Твое православие, которое, к лучшему или худшему, но отличается от исторического православия настолько, что даже ему

непонятно (ведь Ты-то знаешь, насколько Ты остаешься непонятым, и притом не в математиках и абракадабрах своих, но прямо в насущном куске церковного своего хлеба, который Ты показываешь в Столпе), так что, в сущности, православны либо они, либо Ты. Мало того, Ты внутренне, что называется, и усом не ведешь от этого церковного своего одиночества или же ему, церковному телу; Ты противопоставляешь ἐν διὰ δύοίv²⁷ дружбы, чтобы уж окончательно от них отвязаться. А при этом Ты берешь от них (да, «от них») таинство священства и власть его, ты даже слушаешься их, гнешься перед ними, их велений даже не уважая (как это заклеивание слова София в диссертации по требованию епископа²⁸), но при этом остаешься сам себе папой, сам себе «столп и утверждение», которое Ты, в довершение всего, проецируешь на экране православия. И это Твой рок, пока Ты в себе же не найдешь не только столпа и утверждения, но и столпа утверждения, скалы ап. Петра, не услышишь твердый голос и веление Петра... Я сейчас не жду этого и не могу даже себе представить, но я думаю невольно, какое потрясение произойдет в духовном мире, когда Ты увидишь в себе свой протестантизм, т. е. индивидуализм, свое церковное одиночество, из которого выводит только твердая рука того, кому поведено Богом утвердить братьев своих... Надеюсь, Ты поймешь эти мои неумелые и неуклюжие потуги выразить мысль: разумеется, без этого личного мистицизма, догматоискательства, вообще без личного творчества нет жизни; нет ее и в недрах католичества, с Папой, но есть антиномически сопряженный полюс — самоотречения, победы над протестантизмом своей мысли, чувства, искания и обретение для себя, действительно, столпа и утверждения в истине; и это мучительно радостно и сладостно, потому что это не-я; но сверх-я; Церковь и ее священная власть, авторитет. Сколько несправедливостей сказано было (даже и Ты их повторяешь в Столпе) о внешнем характере этого авторитета (как будто авторитет Вселенских соборов менее внешний, чем Папы), но главная разница между авторитетом Папы и Соборов (ибо факт непогрешимости Церкви и, стало быть, вероучительского ее авторитета не подвергается сомнению) в том, что Соборы — дело прошлого, археология, что не связывает или мало связывает меня в сегодняшних исканиях, нам — слава Богу! — становится снова нужен Вселенский собор, а его не только нет, но и не может быть на Востоке, а Папа — живой авторитет, голос Церкви in actu²⁹, с которым не только всегда надо считаться, но перед которым надо быть всегда готовым и

преклониться, его велениям отдаться, победив в себе протестантизм, ибо последний есть постоянная возможность, духовное искушение, всегда подстерегающее, естественный человек; жертвоприносимый на алтаре веры. Борьба с собственными противоречиями есть подвиг веры; самозаклание, которого не хочет, ненавидит мирской человек; и вот почему повсюду такая вражда против католичества, которой не возбуждает расплывчатое и дряблкое («кроткое»); а потому терпимое, нетребовательное православие. И, конечно, для эстетического протестантизма как удобно и соблазнительно подменить жесткую и твердую скалу авторитета «эстетическим критерием», духовным вкусом; религиозным эстетством, тем более, что и на самом деле на своем месте и в своей области это — высокая и незаменимая сила (разве католики это хуже нас знают?), и это смещение сопровождается смешением карт; при котором получают типичные тупики и порочные круги; и в конце концов единственным критерием церковности остается естественно протестантствующее его самого автора; которому удалось обойти вопрос и ввести себя в самообман церковности: *und der König absolut etc.*³⁰ А по отношению к инакомыслящим духовный вкус имеет про запас и духовный меч: обвинение в «прелести»; в которой и обольщается вся католическая Церковь (как мне больно даже и у Тебя встретить эти несправедливые отзывы, — о Фоме Кемп<ийском>, о Франциске³¹: как ни велик для меня Твой авторитет и как ни тонок Твой художественный вкус; но даже и меня он не может заставить голословно в этом Тебе поверить).

Ты скажешь: а все-таки дело идет только о внешнем авторитете и внешнем подчинении ограниченным римским клерикалам; которые не постигают нужд нового религ<иозного> сознания. Они-то и постигают более наших богословов; но это заставляет меня вспомнить о самом для меня больном теперь и показательном вопросе; — о нашем детище — Рел<игиозной> фил<ософской> академии³². Эта мечта была светом моей (думаю) нашей жизни. В ней, мнились, смысл и оправдание совершающегося, п<отому> ч<то> с нею связано религиозное Будущее. Это не просто школа, но новое сознание, новая Церковь, которая есть вместе с тем и старая в ее истинном существе. Я чувствовал себя держащим в своих руках нити этого Будущего и так или иначе к нему приставленного. Конечно, главное место в ней принадлежит Тебе (но и нуль, приставленный к единице, получает свое значение), но самое дело; самая задача превышает и Тебя, и нас, ибо это была церковная задача. Чего мы хоте-

ли? Явить истинную православную церковность во всей ее красоте, глубине и широте, дав православные ответы на все запросы современности и все их, так <им> обр<азом>, вмести в ее ограде. Философия, оккультизм, наука, искусство, все не как предметы преподавания только (это только ближайшая, внешняя задача), но их внутренняя ассимиляция, так сказать, оправославление, оцерковление их существа. Это последняя задача в области религиозного сознания (далее, а м<ожет> б<ыть>, и одновременно, идет уже религиозное действие), и поэтому-то была бы мировая задача, в которой заключается весь узел всемирной истории. Я, конечно, не так глуп и наивен, чтобы себе приписывать эту способность, и даже не Тебе, при всей сверхъестественности и единственности Твоей, — задача дана нам — так казалось — Церковью, родилась в церковном сознании, и, будучи поставлен у великого и чудесного дела, я даже не мог спрашивать себя, по силам ли это мне или нам, п<отому> ч<то> оно по силам только одной, совершающей его Высшей Силе. Но тем не менее мы знали, что через нас проходит сейчас ось Православия и всемирной истории, — и чувствовали себя призванными и посланными на дело Православия. Это не было пророческое, личное от Бога призвание как у пророков (как ни странно, сейчас чувствую себя гораздо более призванным лично), это было сознание, его свидетельство, но оно, казалось, ручалось своей несомненностью, что дело наше будет совершаться. Так я понимал и Тебя, и Ты не станешь отрицать, что было так: не о школе, которая была бы лучше дух<овной> академии, шла речь, но о новой эпохе сознания (то, о чем болтали литераторы à la Мережк<овский>, мы сделаем — таково было чувство). Однако наше дело не удавалось, подобно тому, как А. Н. Шмидт не удавалось найти подходящих членов новой Церкви «Третьего Завета»³³. Наступили годы разлуки, когда я трепетал за Твою драгоценную жизнь, — с нею погасал бы для меня и свет моей собственной жизни, и смысл предстоящей истории: если Тебя нет, значит, земная история внутренне окончилась, и в ней нет большого, нового содержания, пьеса сыграна. Но внутренний голос надежды говорил мне, что Ты жив (как и пропадавший тогда Федя³⁴), и будет Будущее. И когда я узнал, что Ты жив и здоров, я с трепетом ждал от Тебя известий, о Тебе и о Том, и даже не столько внешних, но внутренних. И когда я, наконец, получил Твое письмо, я почувствовал, что Того нет. Письмо было дружеское, но внешнее. Конечно, о самом важном и нужном не напишешь, но я прочел бы и

ненаписанное. И это впечатление подтвердилось и следующим письмом, где Ты пишешь, что занимаешься и тем, и Тем (с изумительным разнообразием), «оставаясь самим собой». О, это, конечно, да! Что же может Тебя обезличить как творческую личность! В этом-то я никогда не сомневался: где бы и когда бы Ты ни был, Ты всегда останешься самим собой. Но мне хотелось знать и Твое церковное сверх-я, и его я не ощутил. В отношении современной церковности Ты стал боком, с брезгливым безучастием: пусть «они» стряпают свои пошлости. Однако пошлость стала уже трагедией, а «они» связаны властью и силой с Твоим священническим я, которой нельзя свести к потенциальности. А другого, Того, я пока не чувствую. Но об этом особый разговор, возвращусь к нашей идее. Я все спрашивал себя: почему же не удастся внешне наша идея. Немногие уцелевшие наши сотрудники умирают или рассеиваются, годы идут, и мы остаемся одни... Но затем я стал проверять себя и самую идею: чего мы хотим? истинного православия, в сознательном и вызывающем противопоставлении себя православию историческому. Правда, мы — в Церкви и от нее берем, из ее сокровищницы свои диаманты, но в выборе и употреблении и состоит наше творческое дело. Все-таки не уйти от того, что духовным фундаментом всего является: мы — православие, мы — непогрешимый и самовластный его орган, в нас и через нас оно раскрывается и сознается. Иначе мы не можем мыслить, без этого все рассыпается... И когда я увидел это с полной ясностью, я был поражен и — отшатнулся. Я понял, что находился в протестантской прелести религиозного самоутверждения (правда, для меня оно было по типу дружбы: вне меня, в другом, в Тебе, но в данном случае это *ἐν δία δύοίν* было только утонченной формой этого религиозного самоутверждения), и мне даже стало страшно при мысли о том, что было бы, если бы наш замысел внешне удался, и в том, что он не удавался, я увидел милостивую руку Божию. Во всяком случае, теперь я прозрел, и не хочу хотеть нецерковного. Это история неосуществившегося замысла для меня самого показала, как глубоко коренится в нас протестантизм, — мистический его-папизм. Разумеется, и теперь я считаю делом первостепенной важности, как просветительное учреждение, такую школу, но нерв ее должен быть совсем другим: это должна быть церковная школа. Ты скажешь: духовная академия? нет, ее трагедия в том и состоит, что она не могла быть церковной школой, не обладая внутренней церковностью, посвященностью и мистической связью всех и каждого с Церквю-

вью в ее живом центре, и эта неудача дух<овных> академий внутренняя есть лишь одно из многих обличений и «грекороссийства», приемлющего себя за Церковь. Ты скажешь: клерикальная, иезуитская? конечно, все дела человеческие несут на себе печать земной юдоли, и церковность покрывается налетом клерикализма. Но — ответу исторически — католичество достаточно показало свою гибкость и жизненность в меняющихся условиях жизни, и в Риме сумеют оценить новые искания и возможности (новый «орден»). Главное же в том, что тогда дело это будет осенено благодатным покровом церковной власти и спасено от прелести. Мне не хочется расставаться с нашей мечтой, и позволь мне еще мечтать о том, что мы найдем, наконец, вместе с церковной основой, и церковную для нее форму, вместо какой-то «вольной», самочинной и вместо церковной школы. Во всяком случае, нашу неудачу в Том, что для обоих нас было делом жизни, я постигаю как закономерную и как милость Божию, п<отому> ч<то> какова же могла быть удача?

IV

Когда во внутреннем опыте для меня стало аксиоматической очевидностью, что Папа есть, т. е. что есть примат св. Петра и живой носитель церковного единства, непогрешимый глава Церкви воинствующей, ключарь, которому принадлежит *plena potestas* (о, как радостно, как светла и сладостна эта мысль), я — одновременно, раньше и позже — обратился снова к научному пересмотру (доступными здесь средствами) вопроса о догмате папства. И у меня как будто открылись глаза на евангельские тексты о примате Петра, которые абсолютной тяжестью легли на весы вопроса. *Tu es Petrus*³⁵, это — повеление и воля Господа И. Христа, которой без всякого рассуждения, безусловно и безгранично надо покориться. Я как будто впервые увидел эти слова в том подлинном виде, как они сказаны, без обычного апологетического обгрызания углов, истолковывания, перетолковывания: немножко здесь, немножко там, пока удастся вовсе изгладить силу первоначального впечатления. Вот это, действительно, дело духовного, богословского, научного вкуса — доверие или недоверие к этим толкованиям, и я решительно потерял этот вкус и освободился от гипноза, который закрывал прямое повеление Господа. И в беседе по дороге в Кесарию Ф<илиппову>³⁶, и в других местах, которые всегда приводятся

католиками и против католиков (Ты их знаешь), совершенно явно одно; что Господь вручил Петру особую власть в Церкви и, конечно, преемникам его кафедры. Даже у Тебя поразило меня мимоходное, но характерное замечание о троекратном вопрошании Петра о любви и троекратном же вторении ему агнецвоец, в чем Ты, вопреки католикам, усмотрел личный разговор (огрубляя Твою мысль), а не новую торжественную интонацию Петра: мне непостижимо это в Тебе, и мне показалось вообще, что в «Столпе» вопрос о Папе и католичестве Тобою вполне еще не пережит и рассматривается частью при свете «моей идеи православия»³⁷, которой примат почему-то не понадобился (вместе со своей иерархией), частью по принятому православному шаблону (*sit venia verbo*³⁸). Это говорю не для полемики, но потому, что вслушиваюсь внутренне во всякое Твое слово. Итак, Евангелие я невольно читаю сейчас «католическими» глазами, т. е. так, как написано, и иначе читать, своевольничать над священным текстом, позволяя себе в нем всякую ретушь, я не могу и не хочу: в Евангелии написано о примате ап. Петра, дано зерно догмата о папстве, который и развивается из этого зерна как растение. Ведь Ты знаешь, как обстоит дело с историей этого догмата в первые века: приблизительно так же, как со всем иерархическим вопросом: протестанты дов<ольно> успешно доказывают исторически, что трех степеней священства первоначально не было, и они появились позднее, а нам это предание, против которого можно без конца воевать и исторически, кажется слепорожденной пред внутренней достоверностью предания. Еще более можно это сказать о почитании Богоматери и Ее праздниках (Успения!), которое как будто вовсе отсутствует в глазах научных критиков в первые века, но тем достовернее для суждения церковного предания. С папством исторически обстоит дело даже благоприятнее, п<отому> ч<то> кажется, не было времени, когда не было бы следов исключительного значения кафедры ап. Петра, которое в эпоху Вселенских соборов совершенно неоспоримо для всех, так что остается работать только апологетической ретушью. Но тем не менее вся эта масса опыта получает свою силу лишь при внутреннем свете апперцептирующего догмата, благодаря чему и идут эти бесконечные споры, есть ли папство догматический факт или злоупотребление римского властолюбия. Я, разумеется, не могу, да и не хочу, не интересуюсь выдумать еще новый, несказанный аргумент в этом споре, тем более, что, кажется, все уже сказано и pro, и contra. Думаю, что в этом и Ты не будешь со мною спорить: исторически одинаково невозможно ни ниспровергнуть,

ни доказать догмат, можно только его показать, а эта возможность относит<ельно> папства стоит благоприятнее, чем для многих догматов, и для меня кажется исторически ясным, что для Вселенских соборов папам принадлежит и руководящая, и решающая роль (а все щипки и ужимки по адресу Гонория, Либерия³⁹ и др. наводят достаточное противодействие), при непрестанном еретичестве Востока, и императоров, и пап. Разумеется, догмата о папском примате раньше соборов Лионского III, Флорентийского и Ватиканского⁴⁰ не было провозглашено, но это ничего не значит, раз он был все-таки в жизни, так бывало и с другими догматами, так было и есть с догматом о Богоматери и... о Софии. В то же время достаточно бесспорно, или не ретушировать, но смотреть открытыми глазами, что многие великие отцы и учителя Церкви, как то св. Иоанн Златоуст, Феодор Студит, Максим Исповедник⁴¹ и др. из восточных чтили Рим, и у западных это подразумевалось само собою (конечно, Ты не разделяешь этого фальшивого и даже еретического приема, принятого в «обличит<ельном> богословии», отводить суждения зап<адных> отцов и считаться только с восточными).

Самая трагическая и роковая фигура во всей истории христианской Европы и, особенно, «грекороссийского» востока — «св.» (да, «св.»!) патр<иарх> Фотий. Им я больше всего интересовался, обломав классические томы Гергенротера⁴², где он заставляет говорить только документы, изучал самого Фотия, попутно убеждался какая наглая и бессовестная ложь пишется о нем в русской литературе (в частности, и у «самого» Лебедева⁴³), и вижу со всей ясностью, что это — узурпатор и честолюбец, принесший своему честолюбию в жертву благо Церкви. Его дарования и полигистерство единственны (*mutatus mutandis*⁴⁴ Тебя напоминают), но это лживый, лукавый, демонически честолюбивый грек, который, на фоне общего культурного разъединения миров Востока и Запада, влил свой яд разделения. Для меня это сейчас, повторяю, самая мрачная и роковая личность в христианской истории (относительно кавычек в «св.» — ἱσαλόστολος⁴⁵ — sic! могу сказать, что я следил за этой историей и считаю, что эта канонизация — не ранее XVI в.! — есть один из церковно-политических актов, требующих пересмотра). Что же касается Михаила Керуллара⁴⁶, то этот мелкий честолюбец даже у греков не «св.» и не ἱσαλόστολος. Я не говорю, конечно, что латины неповинны в распре и расколе в частности, важно, что они правы были в существенном. Ну а когда совершался раскол, началось «обличительное» богословие, заработа-

ла мельница, Ты эту музыку хорошо знаешь. Интересно не это, а то, что до самого падения Византии никогда не сходил вопрос о Папе со сцены самого искреннего и горячего обсуждения среди греков, я теперь только, эти месяцы, познакомился с этой совершенно позабытой или неизвестной «полемической догматикой», и для меня, — да и не для меня только, но и для всего православного богословия это было настоящее открытие. Лишь после падения Византии, когда кончилась Эллада, кончилась и Византия, и начался Стамбул, с озлобленным, завистливым и темным антилатинством эпигонов, стали, не вызывая возражений, кристаллизоваться предрассудки относит<ельно> Рима в стиле Антония Волын<ского>⁴⁷, а мы этот маразм приняли за православие и усердно насаждаем в духовных школах.

Фотиевский разрыв имел неисчислимы последствия в мировой истории (удивительно, что наши апокалиптики в своих толкованиях символов Апок<алипсиса> все находили — и Лютера, и Магомета, и Наполеона и пр., а вот Фотия никто не находил), и, в частности, образовалась не только отвычка и отчуждение, но и вражда, в которой и пребываем. Теперь о догматах католичества. Я знаю, что для Тебя не будет вопроса ни о непорочном зачатии, ни о латинской литургии, которая благополучно существовала и до разрыва, и блаженстве святых и о пургатории⁴⁸, — здесь может быть, самое большее, лишь разговор о богословских тонкостях. Кроме примата Папы, серьезным и единственным вопросом является filioque или противоположная ему фотианская формула $\xi\kappa \mu\acute{o}\nu\upsilon\upsilon \tau\omicron\upsilon \lambda\alpha\tau\rho\acute{o}\varsigma$ ⁴⁹. Для Тебя не новость, конечно, что все эти годы я не отходил от вопроса о Св. Духе, и старался знакомиться с богословской литературой, в частности, филиоквистическим спором. Первоначально я был решительным противником filioque (замечательно, что это же самое повторяется со многими выдающимися униатскими греками, напр<имер>, патр<иархом> И. Векком, даже кард<иналом> Виссарионом⁵⁰, хотя бывало и наоборот: Геннадий Схolariй⁵¹ из униата-латинофрона стал воинствующим латинофобом), но затем все больше понимал и историко-догматическую его правоту и внутреннюю правду. В пределах доступного я изучал и изучаю эту полемическую литературу у греков с IX в., начиная с Mystagogia Фотия⁵², в фотианской и антифотианской литературе, вплоть до последних тезисов Болотова⁵³ по вопросу о filioque, и в результате я с полной очевидностью пришел к выводу, что фотианство $\xi\kappa \mu\acute{o}\nu\upsilon\upsilon \tau\omicron\upsilon \lambda\alpha\tau\rho\acute{o}\varsigma$ есть неправославное новшество, п<отому> ч<то> господствующим у отцов было

либо διὰ πατρός⁵⁴, либо filioque... (и, само собою, «от отца исходящего» в символе оставляет вовсе открытым этот вопрос, п<о-тому> ч<то> его тогда не было). Это признано и Болотовым в тезисах, и здесь нечего ломиться в открытую дверь против ретушеров, как еп<ископ> Сильвестр, частью м<итрополит> Макарий⁵⁵. И по существу я пришел к заключению, что filioque — истина, и во всяком случае третья Ипостась в походе связана не только с Первой (что и утверждает однобоко Фотий), но и со Второй. Излагать все сложные пути мысли здесь не стоит, для Тебя и не нужно, но и у Тебя, помимо небрежных и враждебных слов о «католическом богословии», в Твоей метафизической схеме А—В—С третий член, С, оказывается непосредственно связан с вторым и лишь посредственно с первым, т. е. тоже выходит διὰ или filioque (что, по существу, одно и то же; разнится лишь в оттенках мысли). Это между прочим. Во всяком случае, помимо отношения к католицизму, в этом вопросе как богослов и метафизик, я — «филиоквист», если выразить это в грубых и условных терминах. Во всяком случае фотиевское ἐκ μόνου τοῦ πατρός противоречиво и неправославно, а все дальнейшее фотиевское богословие не прибавило ни одного существенного аргумента к спору, кончая Марком Еф<есским>⁵⁶ и Схоларием.

V

Но это все не важно, т. е. мои мнения, theologumena и philosophumena⁵⁷, я себе цену теперь знаю и знаю предельный внутренний вес своих мнений, и, кроме того, столько раз менял их во время своих многочисленных идейных романов и все продолжаю менять, что и сам не имею полного доверия к прочности своих мнений (боюсь даже, что твердость их не выдержит испытания Твоей критики), и постольку поскольку я опираюсь на свои мнения, я всегда допускаю возможность увлечения и обольщения. Но важен догматический факт, обнаружение которого во всей силе было для меня настоящим открытием, давшим мне церковный фундамент для моих догматических домислов, и лицо к лицу перед этим фактом я и Тебя хочу поставить, требуя от него того или другого ответа. Факт этот — Ферраро-Флорентийский собор 1438—<143>9 гг., представляющий собой подлинный — осьмой — Вселенский собор⁵⁸, властно, Духом Святым, изрекший ряд первостепенных догматических опреде-

лений (о filioque, о папском примате и проч.). Собор этот не только оклеветан так бессовестно и нагло, как умели это делать византийцы, обучившие этому и наших богословов, но просто изглажен даже из книги времен, как будто его и не было (а был какой-то съезд мошенников: Исидора, Виссариона с Папой во главе, побежденный, однако, доблестью Марка Ефесского) и с ним можно не считаться. И потому, повторяю, и для меня явилось настоящим открытием, когда я увидел, что это был никем не оспоренный, а только оболганный безбожно настоящий Вселенский собор. Насколько для меня это было возможно, я всматривался и вчитывался во все его черты, его деятели стали для меня конкретными историческими личностями, те сочинения их, которые напечатаны в патрологии Migne⁵⁹, я прочел до строки и говорю это с полным убеждением. Это был настоящий вселенский собор и по полноте представительства всех Церквей, и по серьезности, достоинству и продолжительности своих работ и даже по полному почти единогласию своих решений, подписанными всеми участниками, кроме Марка Ефесского, последовавшего в этом, как справедливо говорили на Соборе, примеру непокорных Церкви Ария, Нестория⁶⁰ и под. Вообще эта фигура представляет собой смесь Антония-Иллариона и Илиодора⁶¹, истерик, даже эпилептик и демагог, сначала он пытался держаться на подложности якобы святоотеческих текстов, но когда был разбит, перестал ходить на заседания, где должен был быть дан ему ответ, вовремя заболевши своим то <1 гр. нрзб.> и все стремился бегать домой, а на последнем совещании греков, после двухлетнего почти соборования с латинами, провозгласил, что они — еретики, с которыми нельзя иметь общения, тем не менее обещал императору подписать акт соб<орных> постановлений, но по возвращении, а на самом деле принялся немедленно за илиодоровскую демагогию против Собора. И хватает еще совести говорить о насилии над греками, когда даже за бунт против Собора к нему не было применено мер церк<овной> дисциплины. Вообще эти антониевские разговоры, типичные для греков, о подкупе, насилии со стороны Папы и императора (который будто бы запретил Марку являться на заседания как непримиримому спорщику, а между тем он на самом деле сам удрал) страшно преувеличены, особенно если сравнивать, под каким давлением той или другой партии при дворе проходили Вселенские соборы, что не мешало им, как и Флорентийскому, явиться Таинством веры. Да, нет оснований отрицать значение Флор<ентийского> собора, как акта властного провозглашения церковной истины, и позднейшие отвер-

жения его на частных Соборах совершенно не имеют силы, иначе бы давно уже ничего не осталось и от первых Всел^{енских} соборов, — я думаю, что и Ты не будешь спорить: Всел^{енские} соборы есть таинство, совершенное совокупностью епископов всех Церквей, оно не может быть упразднено епископами в отдельности. Да кроме того, были многие из греков, защищавшие унию горячо, искренно и страстно, пришедшие к ней после колебания и борьбы. Ведь греки ехали на Собор (особенно, по-видимому, Марк) с легкомысленной самоуверенностью, что они латинян раскатают, и вовсе не принимая их догматов (так было и с Виссарионом, и с Геннадием Схоларием и др.), но, раз принято было решение вопроса вручить Всел^{енскому} собору, нельзя свое личное мнение не подчинить этому решению. На Соборе был цвет византийского богословия и науки, так что бой был настоящий и решительный. Греки отвергли Собор уже после падения Византии, когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали сделать и «вост^{очные} патриархи» (и тогда уже только церковно-исторические статисты, как и теперь), а в Москве мальчишка-князь (20 лет) Василий Темный просто арестовал Исидора — и все. Такими средствами не может быть упразднен Вселенский собор, который требует себе признания и подчинения хотя бы через 500 лет. Греки, а вместе с ними и мы, и вся восточная Церковь совершили клятвопреступление, т^{ак} к^{ак} при совместном совершении литургии после Собора обе стороны перед Св. Дарами дали обет сохранить ему верность. Если до этого Собора (не считая Лионского⁶²) в схизме можно было считать повинными обе стороны, то теперь схизматики — мы, восточная Церковь. И этот грех влечет за собой неотвратимое наказание, — пала Византия, а вместе с ней оскудела восточная Церковь. Теперь пала наша Византия, и оскудела Русская церковь. Если Ты уверенно и парадоксально гибель России связываешь с небрежением к догмату об Имени Божием, еще не раскрытому церковно, то что же Ты должен сказать перед лицом этого клятвопреступления и церковного бунта и схимы. Грех этот должен быть осознан и исправлен, и до тех пор не преодолеть нашей Церкви духа рабства и порабощения, которое было и остается ее уделом. Итак, соединение Церквей совершилось в 1439 г., хотя оно доселе не осуществлено и не использовано, мы уже в единении с католиками, а поэтому ни о каком переходе или даже соединении с католичеством речи быть не должно. В то же время не должно быть речи и об облатинении, п^{отому} ч^{то} восточный обряд признан равночестным с латинским во всем своеобразии и на Флор^{ен-}

тийском> соборе, и особенно в наши дни. Но мы должны исполнить всякую правду — и явить правду Флор<ентийского> собора. Папа Римский есть верховный архиерей Вселенской церкви с непогрешительностью в качестве учителя веры, и его церковной властью утверждается (а не домыслами моими) и истина *filioque*. Вот что для меня теперь стоит как непререкаемая догматическая действительность. Если сумеешь, отмысли мне факт VIII всел<енского> собора. Единение с зап<адной> Церковью и признание Папы требует именно мое православие, в глубине которого и сначала интуитивно, а затем исторически открыл это, ибо православная восточная Церковь есть Церковь не 7, но 8 Всел<енских> соборов! Флорентийский собор не утратил свою силу и не может ее утратить вследствие нашего греховного ослепления и небрежения. Да будет общество Флорентийского единения!

VI

Все это было бы верно и безотносительно к русским вопросам, но гибель России, и катастрофический развал Русской церкви и явное гниение русского народа являются громами и трубными гласами с неба. В истории Церкви и в мировой истории теперешнее время в России аналогично с падением Византии, только здесь внутреннее, а там внешнее завоевание, аналогичны и вопросы, и нестроения, и настроения, только различен возраст мировой истории: тогда пал второй Рим и под обломками своими похоронил царскую, константинопольскую Церковь (ибо эллинская эпигонская церковь после него принадлежит уже к иной эпохе, в сущности пережила себя и, как пережиток, потеряла и свой исторический смысл, и силу жизни), но начался Третий Рим, хотя и второго издания, московский, возникла новая царская церковь, которой первым сознательным цезарепапой был Грозный⁶³. (Я говорю здесь кратко, намеками, намечаю ходы мысли пунктиром, но для Тебя достаточно. Ты поймешь.) Русская революция, отняв царя, обезглавила Русскую церковь и лишила главы грекороссийство, она неудержимо рассыпается, и это происходит на наших глазах: извне гонения и удары, внутри — протестантизм, если не хуже. А ему может быть противопоставлен в лучшем случае лишь консерватизм, неподвижность и реставраторство. И этого развала не остановить, из этого канонического болота, в котором мы завяз-

ли, не вылезти. Разумеется, остаются и останутся мистические точки, алтари, но историческая Церковь своими силами не восстановится и даже не удержит того, что имеет, как под страшными внешними ударами, так еще более под давлением своего собственного внутреннего бессилия; к тому же надвигается церковное невежество и одичание, которое постигло и греческую Церковь (и ведь Византия-то была не чета Москве). Нужно смотреть горькой действительности в лицо бесстрашно, и Ты все это знаешь. Тебя не нужно убеждать в этом, п<оому> ч<то> и без того Ты, по-видимому, не видишь в широкой Русской церкви, по крайней мере, клире, ничего кроме «пошлости». Я так не смотрю, я вижу здесь церковную трагедию и церковную кару — за бунт и клятвопреступление против VIII Вселенского собора. Собор всероссийский, патриаршество, разные заплаты — все это очень быстро раскрылось в своем бессилии. Или Россия безвозвратно погибла вместе с Русской православной церковью (как в сущности, погибла в 1453 г. Византия, ибо теперешние греки и не эллины, и не византийцы) или... должны быть новые исторические дрожжи, новый Херсонис⁶⁴, μετάβασις εἰς ἄλλο γένος⁶⁵, поворот с востока (уже не существующего) на запад. Я заново проверил свою «русскую идею», и результаты вполне неожиданно оказались в полном единомыслии с Чаадаевым⁶⁶ и Вл. Соловьевым (и как раз в том, в чем я его особенно высокомерно третировал, теперь я вижу в нем истинного служителя Божия). Здесь я ожидаю, что Ты с эсхатологическим фатализмом скажешь: не бывает второго рождения, поздно. А я слышу в происходящем: се Аз творю все новое⁶⁷, и всякое леонтьевство⁶⁸ просто грешно. Тут решает, конечно, внутренний голос, шестое чувство: кончена ли история и начался уже конец, или же будет история, и мы в истории. Раньше я был очень падок, вместе со всеми дилетантствующими литераторами, к безответственному и, в сущности, дряблему и трусливому эсхатологизму. Теперь я ясно вижу, как много было здесь и поэм, и иллюзионизма, который свою «имагинацию» принимает за мистическую реальность (сколько за эти годы я прозрел в себе таких имагинаций, и как отрезвляюще было это прозрение), и просто неумения приняться за дело (этого умения я, конечно, не приобрел, так бездельником и умру, но приношу Богу покаяние в своем бездельи, — Ты, опять-таки, отлично понимаешь, о чем я говорю). За эти годы исканий и в этом уединении я открыл очень простые, но верные вещи: о себе, что я умру как все люди, и с благодарной покорностью и умилением это приемлю,

а раньше я искренно шмидтианствовал⁶⁹ — с соответствующей мистической имажинацией, что я не вкушу смерти по случаю преобразования; о мире же, что история еще не кончилась и что думать так грех, и надо ориентироваться на историю, и мне стало казаться (но только казаться, это м<ожет> б<ыть>, еще и δόξα⁷⁰), что ранее конца предстоит еще великий расцвет христианства, новые Средние века (о чем и Ты говоришь), и Россия, пережив посланную ей небом трагическую судьбу, predeterminedенную в Херсонисе, где греки вместе с крещением отравили нас своим завистливым и надменным особнячеством, еще начнет новую жизнь вместе со всей христианской Европой. И когда мистически изглядятся следы антихристовой подделки Белого Царя, — цезарепапы, под водительством Петра, она исполнит свое дело, которое есть все-таки тоже Белое Царство. Но для этого нужна μετάνοια⁷¹, а затем и другое воспитание. В теперешнем виде русский характер не годится никуда: это — кисель без всякого костяка, это, действительно, рабье состояние, почему теперешняя Совроссия и есть грандиозный муравейник рабов. И это рабство должно быть побеждено, новый русский человек, перед которым растерянно остановился Дост<оевск>ий да так в Алеше ничего и не умел сказать (а бессознательно говорил о светском ордене, т. е. о том, что сам ругал католическим иезуитством). Православие — «грекороссийство» оказалось несостоятельно в деле воспитания русского народа, и это потому, что оно само было больно схизмой и рабством, ибо всегда было это рабство, оно-то и растопило кости и мышцы ее. Не думай, конечно, что я наивно и просто призываю иезуитов (хотя, действительно, как-то незаметно для себя все положительнее отношусь к духовному католическому рыцарству), но я верю, что если в нас произойдет в этом отношении сдвиг и покаяние, то это учтено будет и в небесах и на весах истории. Ведь теперь, как и вообще во времена кризиса, приходится думать не о массах, но о командном составе, о горсти людей, верных, отважных, сильных, которые могут сделать великие дела, но их нужно воспитать. Если говорить внешне и грубо (только не пользуйся этим для полемических инвектив), нужны орденские организации, которые не соответствуют русскому безвластию, соединенному с рабством. Нужны новые дрожжи. Но и это соображение пахнет утилитаризмом. Думать об единении с зап<адной> Церковью повелевает истина, и это все. Ты скажешь, конечно: есть ли и там жизнь? живо ли католичество и способно ли оно влить жизнь, которой само не живет? Для меня нет такого вопроса.

Но, конечно, я думаю, что соединение с востоком и для запада было бы грандиозным событием, наступлением полноты Церкви, которое явилось бы началом новой эпохи в истории. Ты скажешь, как говаривал прежде: из этого ничего не выйдет, католичество и православие окажутся несоединенными до второго пришествия. Значит, можно соединяться со всяким западным паскудством: протестантизмом, антропософством⁷², интернационалом, но не с Церковью. Так можно было еще судить ну — хотя до революции, а не теперь. Но главное, я думаю, что так судить — грех, нам не дано, не позволено. Пусть Хозяин заботится об урожае, надо его сеять. Еще скажут многие (наш милейший М. А.⁷³, вся наивность и беспомощность православствования и вражды к католичеству особенно типичные): слопают нас, конечно, «о. о. иезуиты», и все тут, бойтесь волков в овечьей одежде. Скажу на это: нас все равно уже слопали и лопают, поздно этим пугать, но кто лопает? все, только не христиане, так что этот страх фальшив и преувеличен. Кроме того, что я ничего, кроме хорошего, для русской дряблости и безвольности не жду от католического воспитания, которое может ведь оказаться единственным светом *in partibus infidelium*⁷⁴ (ведь к тому идет дело), я не боюсь этого. Я верю и знаю русскую душу, русскую одаренность, вообще русский гений, который нуждается в воспитании, но не боится его. К тому же время национальных внешних перегородок отошло в прошлое, в мире царит интернационал, и национальность есть теперь факт внутренний, духовный, первозданный. И как раньше в Московии мы могли домариноваться до раскола и смуты и просто задохнуться, и Петр насильственно разбил окно и впустил воздух, так и теперь надо нам спастись от своей несостоятельности, но не светски и безбожно, а единением с Церковью. Повторяю: это трагедия. Пред судом всемирной истории русский народ не виноват за то, что поезд его, поставленный на запасной путь, ударился в тупик, но виноваты все те, кто не выведет его из этого туника, не признают его, не помогут. Я пока говорю не о конкретностях, но об исторических заданиях.

Но, говорят (даже и у Тебя это проглядывает), католическая духовная жизнь, их святость, их мистика — это духовная прелесть, есть только один и единый путь духовной жизни в православии, в старчестве. Я этому просто не верю и не придам значения этим общим жестам. Дары различны, и служение различно, и этот единый духовный путь есть или бледная отвлеченность, стена, не соответствующая многообразию духовного опыта востока, особенно в разные эпохи церк<овной> истории,

или же этот путь, истина и жизнь есть Христос, но попробуйте отнять Христа у запад<ной> Церкви — до разделения или после разделения? Нужно быть Антонием Вол<ынским> (и к нему, увы! от страха пред католичеством, который в глубине души непрестанно испытывают православные, знаю это и по своему опыту, присоединяются многие), чтобы пойти на такое братоубийственное осуждение, его я оставляю без рассмотрения. Разумеется, западные всегда — и до разделения Церквей, — были смелее <?>, чем восточные, это-то и явилось естественной почвой для растущего отчуждения и разделения, однако, это отчуждение давно уже преодолевается внутренним проникновением запада — в наше богословие, в нашу культуру и литературу. А затем чем же нужно быть, чтобы сказать, что все не наше есть прелесть? То немногое, через что я чувствую и знаю эту жизнь, напротив, возбуждает лишь удивление, даже при чуткости своей: готика, схоластика, Данте⁷⁵ и Фома Акв<инский>⁷⁶, Франциск и Игнатий Лойола⁷⁷ и т. д. И во мне только радость возбуждает мысль, что есть целый мир — чуждый, но и вместе родной, который еще остается не изведен. И то же самое я думаю и про религиозную их практику, про их духовные ордена, и ораторию, и их литургические особенности (культ Сердца Иисусова, Богоматери, почитание Евхаристии и под.). Да я почти не сомневаюсь, что Тебя мне не нужно в этом убеждать. Разумеется, форма лат<инского> богословия и его стиль, с которым связаны и некоторые особенности католического богословия (ее столь преувеличенный и часто столь недопонятый и недооцененный «юридизм»), имеет в себе много специфически латинского, что, вероятно, останется нам по существу чуждым, но что как раз более всего — положительно или отрицательно, сознательно или бессознательно повлияло на наше школьное богословие. Да и что мы вообще, по совести говоря, можем мы противопоставить как свой стиль? у византийцев (конечно, не у теперешних греков) было, а у нас: творения еп<ископа> Сергия или митр<ополита> Антония? Или разве opera omnia⁷⁸ Флоренского, но они еще дальше от «православного стиля», чем католич<еское> богословие. Скажу одно: я большую часть жизни, как Ты знаешь, возился с протестантами, и теперь, когда открылись у меня глаза и для католического богословия, я чувствую себя в родном мире, который доселе почему-то оставался чужд...

Кончаю. Вот беспорядочно, намеками выраженное то, что родилось во мне как итог и опыта моего священства, и вообще самосознания моего православия, а вместе всего того трагиче-

ского и страшного, что пережилось и переживается теперь. Миссия русской революции разрушить средостение, — красного иудейского интернационала — соединение Церквей и преодоление церк<овного> иудаизма. Тебе первому (или почти первому) открываю свою тайну (ибо это еще тайна от мира). С трепетом жду Твоего отзыва. До него не только внешне, но даже внутренне я не ставлю точку. Ты можешь меня переубедить, если только это вообще возможно. Во всяком случае один, без Тебя, я перед Богом и перед своим сердцем не могу сказать последнего слова. Так страшно, так трудно, а вместе с тем чувствую здесь дело Божие. Аминь!

